



Н. МИНСКИЙ

Фридрих Ницше

Перечел произведения Ницше и странное все время испытывал чувство. Стоило отдаться чтению, и я сознавал, что наблюдаю явление, беспрецедентное по силе, по стремительности, по движению вперед, какую-то литературную Ниагару. Не видишь слов и фраз, а непосредственно созерцаешь освобожденную стихию мысли, летящую вперед, уносящую с собой. Но как только я прекращал чтение, чтобы мысленно оглянуться вокруг себя, я с удивлением видел, что бушевавшая стихия никуда не унесла, что ее движение вперед *было*, на самом деле, движением водопада, прикованным к одному и тому же месту, дерзновенным прыжком не со звезды на другую, а с камня на камень, с высоты нескольких саженей. Ницше не освободил меня не только от грубости и уродства столетий, но от грубости и уродства вчерашнего дня.

Вот, например, не дальше как сегодня утром, я в свежееотпечатанном номере газеты прочел, что немцы взяли в плен полтора десятка китайцев, выстроили их в шеренгу и расстреляли. И тотчас мне вспомнились афоризмы Ницше: «Сострадание — вот орудие нигилизма»... «Этот угнетающий и заразительный инстинкт находится в прямом противоречии с другими инстинктами, рассчитанными на сохранение и увеличение ценности жизни»... «Во имя инстинкта жизни следует отыскать такое болезнетворное и опасное скопление страдания, каким представляется философия Шопенгауэра (а равно весь литературный и художественный декаданс от Петербурга до Парижа, от Толстого до Вагнера), и нанести этому нарыву удар, дабы он лопнул... Нет ничего болезнетворнее, среди нашей болезнетворной современности, чем христианское сострадание. Здесь быть врачом, здесь быть неумолимым, здесь действовать ножом, — вот, что достойно нас, вот наша манера проявлять человеколю-

бие, вот, в чем мы — философы, мы — гиперборейцы»¹. И в другом месте: «На что бы понадобилось божество, чуждое гнева, мстительности, зависти, презрения, хитрости и насилия? Божество, ни разу не изведавшее упоительного пыла победы и разрушения?» И еще в третьем месте: «Князь во главе своих полков, — какое великолепное воплощение самолюбия и самовозвеличения целого народа»... Взятые сами по себе, эти афоризмы не кажутся ли дерзкими и новыми? Но вот я соединяю мысленно все эти дерзновенные и новые идеи: смертельный удар, нанесенный состраданию, божество, упоенное победой и разрушением, и великолепие князя, парадирующего во главе своих полков, и неожиданно для себя, вдруг в результате получаю выстроенных в шеренгу военнопленных и в двадцати шагах против них другую шеренгу победителей. («Мы — философы! Мы — гиперборейцы!») Как-то случилось, что прыгая со звезды на звезду, идеалы Ницше очутились среди грубой и нелепой действительности вчерашнего дня. Не приходится даже прибегать к слишком легкому и поэтому пошлому и дешевому приему — к объяснению идей автора его национальностью или происхождением. Разве одни немцы поступают по-ницшеански? А испанцы на Кубе, англичане в Южной Африке, турки в Армении? И если все они — «философы и гиперборейцы», то чем не философ и не гипербореец тот фельдфебель, которого Скалозуб² хотел дать в Вольтеры русским вольнодумцам?

Но, сопоставляя таким образом идеи Ницше с грубыми фактами войны и политики, не совершаю ли я несправедливости по отношению к теоретику-философу, не низвожу ли его насильно в низшую сферу, в которой никогда не жила его мысль? Ведь сам Ницше говорил о политической жизни народов не иначе, как с высокомерием и насмешкой и даже уверял, что немцы оттого так плохо понимают его философию, что слишком берутся со своей новорожденной империей. Но вот мне вспоминается одно его любопытное признание. Нападая на современное общество за приверженность, хотя бы только на словах, к учению Христа, Ницше восклицает? «Куда делось последнее чувство приличия, уважение к самому себе, если *даже* наши государственные люди, эта во всем прочем мало стесняющаяся порода людей, *эти вполне и насквозь антихристы в своих поступках*, — если даже они называют себя христианами». Итак, сам Ницше признает, что новый идеал антихриста, который он несет миру, уже воплощен в поступках государственными людьми его родины. Нет, не могу победить в себе чувство недоверия к философу, который того и гляди проведет меня не

то перед фронт солдат, не то в канцелярию государственных мужей. Боюсь Ницше, боюсь не столько новой его лжи и неправды, сколько возврата с ним к старому и пережитому. Все, только не прежнее, не прежняя любовь и не прежняя жестокость, ибо жаждет душа новой земли и нового неба.

Чем глубже вдумываюсь в миросозерцание Ницше, тем яснее вижу бездну, которая отделяет его от моей души и, кажется, от души всякого, кто сознательно примыкает к великому символическому движению современной литературы, хотя, по странному недоразумению, Ницше считается одним из родоначальников символизма. Опуская второстепенные признаки и оттенки, можно сказать, что символизм, как крупное явление современности, представляет собой новое равновесие материального и духовного начала жизни. Символизм видит в явлениях внешнего мира лишь уподобления и, если можно так выразиться, равнозначения иного мира, духовного, непостижимого, священного. В отличие от идеализма и материализма, символизм считает оба естества мира одинаково ценными. Символизм насквозь пластичен и мистичен, воспринимает каждое явление, как образ и как таинство, как откровение красоты и божественности, искусства и религии, и в этой автономной двойственности материи и духа — вся глубина символизма и сила. Между тем в философии Ницше элемент духа или ставится на второе служебное место, или совершенно отрицается, и такое духоборство отодвигает ницшеанство в разряд тех полупhilosophических, полу-научных систем, которые в таком количестве расплодилось в Европе под влиянием открытий Дарвина. По мнению Ницше, часто им повторяемому, разговоры о духе, о Боге, об идее уже являются опасными симптомами декаданса, упадка жизненной энергии, замены жизнеобильных инстинктов жиз-нескудными, здоровой воли к власти — болезненной волей к «ничто», «благородной» морали насилия — «рабской» моралью сострадания. Все религии, вся идеалистическая философия древних и новых, по мнению Ницше, не что иное, как результат враждебного отношения к жизни («за исключением учения двух-трех скептиков, этих единственно порядочных людей в истории философии»). Ницше пришел, чтобы спасти мир от идеализма и декаданса.

«Мы, — говорит он, — больше не производим человека от «Духа» или от Бога, мы его снова поместили в ряду животных». «Все, что теперь вообще может быть постигнуто о человеке, говорит лишь за то, что он должен быть рассматриваем, как машина». «Прежде в сознании человека, в его «духе» ви-

дели доказательство его высшего происхождения, его божественности... Мы же это перерешили; сознательность, «дух» кажутся нам как раз симптомом сравнительного несовершенства организма». «Чистый дух кажется нам чистою глупостью. Если вычтешь свою нервную систему, свои внешние чувства, «смертную оболочку», то мы обсчитываем себя в конец — вот и все». Не знаю, кого разумел Ницше под собирательным «мы», но русский читатель, вероятно, отнесет к этому «мы» Базарова³ и Писарева⁴ и не ошибется. Отсутствие в мирозерцании Ницше божественной бездны образует реальную бездну, навсегда отделяющую его от нашего сердца и навсегда ставящую его по ту сторону символизма и мистики. Воздушный мост, который Ницше хотел перекинуть через эту бездну в виде сверхчеловека, едва ли выдержит нашу мечту, отчаянную любовью к вечному. Достигнув этого достижимого и внемистического сверхчеловека, человечеству пришлось бы окунуться в самодовольство и жить отныне жизнью бесцельной, не строить же новый мост — сверх-сверхчеловека, а потом сверх-сверх-сверхчеловека и так до бесконечности. Но в таком случае стремление к сверхчеловеку мало чем отличается от дарвиновского совершенствования расы при посредстве борьбы и разных подборов. Если между ними и окажется некоторое различие, то всецело в пользу Дарвина. Совершенствование вида, хотя не включает в себе момента вечности, все же, по своей природе, непрерывно и безостановочно и таким образом являет собою хотя бы призрачное подобие истинной божественно-мистической цели жизни. Между тем сверхчеловек Ницше — явление законченное, остановившееся; это не движущаяся с жизнью, влекущая и недостижимая цель, а порог, по капризу случая возникающий то тут, то там, средство отречься одновременно и от Бога, и от человека. Впрочем, пусть сам Ницше объясняет свое детище. «Человечество не обнаруживает развития к чему-либо лучшему, сильнейшему, высшему, как принято теперь верить. Идея о «прогессе» (Fortschritt) — новая и, следовательно, ложная идея. Европейец наших дней далеко остается позади европейца времен ренессанса... Совсем в другом смысле, на различных пунктах земли, среди разнообразных культур, встречается длящееся преуспевание отдельных случаев, в которых на самом деле проявляется высший тип: нечто такое, что по сравнению с целым человечеством, представляет собою разновидность сверхчеловека».

Первородный грех философии Ницше — замена в ней религиозного пафоса естественнонаучным, отсутствием мистиче-

ской дали, той бездонной атмосферы, в которой материя преображается и делается символически-идеальной. Одной любви к материи, одной дерзкой жизнерадостности, одной воли к власти еще мало, чтобы придать жизни значительность и величие. Быстроногий Ахиллес⁵ кажется нам богоравным, но ничего божественного не видим мы в быстроногом велосипедисте. Жестокость Зевса, карающего Прометея⁶, прекрасна, но уродлива безжалостность фабриканта, выматывающего последние силы из малолетних рабочих. Жизнерадостный смех олимпийцев окрыляет душу, но отвращение внушает жизнерадостный смех уравновешенного, здорового, бездушного рантье. Происходит это оттого, что в деятельности велосипедиста, фабриканта и рантье мы не чувствуем мистического момента, дыхания судьбы и вечности. И я должен сознаться, что, читая «здоровые» афоризмы Ницше, я часто задавал себе вопрос, уж не просочился ли в душу философа яд буржуазного самодовольства, милитаризма, полунаучного свободомыслия, национального чванства, столь глубоко отравивший немецкое (и всеевропейское) общество наших дней? Разве похож Ницше на кабинетного наивного ученого, серьезно уверенного в том, что причина европейского декаданса — обуревающее нас христианское милосердие? Скорее не великий ли он лукавец и насмешник, который, щеголяя на словах дерзновением мысли и презрением ко всему роду человеческого, на деле оказывается покладливейшим и добродушнейшим всеобщим приятелем? Не уловляет ли он читателя в свои сети, шепча ему на ухо: «Не бойся! Вместо прежней морали, требовательной и придирчивой, я несу тебе новую, которая никаких подвигов, ни трудов не потребует, ибо ты и без меня достаточно жесток, кровожаден, властолюбив, здоров. Замени лишь слово “христианство” словом “ницшеанство” — и ты будешь совершенен».

Не странно ли в самом деле, то обстоятельство, что Германия, — родина философского пессимизма — является в то же время родиной практического самодовольства и жизнерадостности. Как могло случиться, что во главе этих вымуштрованных и счастливых людей стали Шопенгауэр и Гартман, считающие бытие злом и обманом? Каким образом эта бодрая толпа не выдвинула из себя проповедников бодрых инстинктов, энергии, дисциплины, веселия? Правда, нашелся немецкий мыслитель, Давид Штраус, который пытался было возвести «в новую веру» эту немецкую (и общеевропейскую) практическую жизнерадостность, столь же враждебную религии, как и метафизике. Но к выполнению такой задачи Штраус приступил слиш-

ком по-профессорски, со спокойной научной добросовестностью, забывая, что новое душевное равновесие, которое он собирался возвести в религию, выросло не в кабинетах ученых, а на полях битв, в залах гимнастики и фехтования, на велодромах, что на жизнерадостное мирозерцание современного европейца гораздо более повлияли условия гигиены и спорта, чем признание библейских чудес или критика их. Ошибку Штрауса глубже всех понял и ярче всех указал не кто иной, как Ницше. Но кто знает, не поступил ли он в данном случае со Штраусом, как разбойники на большой дороге поступают с проезжим купцом, т. е. не убил ли он Штрауса для того, чтобы ограбить его? Не возомнил ли сам Ницше себя пророком и глашатаем этой новой религии материального комфорта, гордой чистоплотности и развитой мускулатуры, которая не только победила пессимизм прежней мистики и философии, но как бы смяла и растоптала самую мистику и философию? Не есть ли сверхчеловеческая гордость Ницше только рассчитанный на эффект начальнический окрик, а самый *Uebermensch* только *Obermensch*, не сверхчеловек, а обер-человек, как бывает обер-офицер и обер-контролер, начальник над всеми людьми вообще — обер-человек, наиболее сильный, наиболее строгий, наиболее самодовольный?

И нужно отдать Ницше справедливость в том, что если он задался целью возвести в религию здравый смысл жестокой и жизнерадостной толпы, то выполнить эту задачу с великим талантом и знанием человеческого сердца. Желая привлечь толпу, он бранит ее и превозносит немногих избранных, зная, что это вернейшее средство стать кумиром толпы, из которой каждый в душе вопиет: «Я и есть этот избранный, это исключение!» Ницше создал новую риторическую фигуру, которую я бы назвал фигурой запугивания. Прежде чем высказать какую-нибудь мысль, он дает понять, что, конечно, ее не одобрят лицемеры и трусы, и запуганный читатель заранее ее одобряет, лишь бы откупиться этою ценою от звания труса и лицемера. Ницше всегда повторяет, что пишет для немногих, что его идеи обитают на неприступных высотах, что, в отличие от мыслителей всех веков, он не ищет истины, а дает ее готовой, что он «шагает по вершинам», что для понимания его уже нужен гений. «Книга эта (так начинается предисловие к «Антихристу») принадлежит лишь весьма немногим. Может быть, из них никто не родился... Как мог бы я смешать себя с теми, которые уже теперь находят внемлющие им уши? Только день, который настанет вслед за завтрашним, принадлежит мне. Иные

рождаются в мире посмертными». И нам любопытно сопоставить эти безумные (или слишком благоразумные?) речи с действительностью, которую они же создали, с беспримерною популярностью имени, идей и сочинений Ницше, которые в несколько лет обошли весь мир и повсюду нашли почитателей и последователей. И что удивительного в том, что мессия здравого смысла и жизненных инстинктов был скоро понят и оценен именно толпою? Однако можно ли считать Ницше благоразумным и неискренним? Чем тогда объяснить бесконечное обаяние его речи, его несомненную гениальность, которая сама уже является залогом искренности? Сам Ницше, признавая только власть инстинктов и отрицая значение в жизни чистого разума, полагал, что лучшее средство объяснить философскую систему — это понять задние мысли, руководившие ее творцом. «Они (философы) все притворяются, будто открыли и постигли свои мнения чрез саморазвитие холодной, чистой, божественно-беспечальной диалектики, между тем как на самом деле они защищают заранее подобранными доводами какое-нибудь предвзятое положение, выдумку, а всего чаще какое-нибудь сердечное желание, искусно превращенное в абстракт». Философы так же подчиняются инстинктам и влечениям сердца, как другие люди, и потому изучать философию следует при помощи не логики, а психологии, — таков излюбленный тезис Ницше. Почему бы не применить этого психологического метода к его же творцу?

Врагом идеализма и философии Ницше стал только впоследствии. Начал же он свою литературную деятельность на большой идеальной высоте и в своем «Происхождении трагедии» дал редкий образец философской критики искусства. В то время Ницше увлекался трагедией греков, философией Шопенгауэра и музыкой Вагнера, и из этих трех, казалось бы, разнородных элементов сумел составить изумительное по красоте целое, какой-то философско-художественный нектар. Почему же Ницше не удержался на этой высоте, почему он добровольно бросился с нее вниз, добровольно «закатился»? Ответ может быть лишь один. Потому что самостоятельным философом рядом с Шопенгауэром Ницше стать не мог, оставаться же учеником, хотя бы самым блестящим, кого бы то ни было, не дала ему проснувшаяся в нем неукротимая, ненасытная, по истине сверхчеловеческая, но вполне человеческая и понятная каждому из нас жажда величия, поклонения, бессмертия. Это последнее чувство и есть та сила, которая делает Ницше не только искренним, блестящим, но и глубоко современным представите-

лем нового человечества, освободившегося от ярма религии и долга и немедленно заболевшего манией величия.

Вчитываясь глубже в «Происхождение трагедии», мы под гармоническим узором, в котором автор так искусно слил античное миросозерцание с пессимизмом новой философии, открываем, однако, неразрешимое, болезненное противоречие. Миросозерцание греков, несмотря на трагический элемент их искусства, в конечном результате утверждало жизнерадостность или, выражаясь языком, впоследствии выработанным Ницше, говорило: да. («Жизнь в основе вещей, несмотря на все смены явлений, несокрушимо могуча и радостна».) Между тем, трагическое миросозерцание Шопенгауэра с начала до конца утверждает скорбь и бесцельность жизни, говорит: нет. Как было примирить эллинскую радость и шопенгауэровскую скорбь? От кого отречься: от греков? от Шопенгауэра? Но Ницше той эпохи был одинаково зачарован и покорен гением эллинов и гением Шопенгауэра, и в этой слепой привязанности к тому и другому сказывается одна из основных черт характера Ницше, которую я бы назвал жаждою духовного рабства, чисто женской влюбчивостью ума, черта характера, с которой Ницше должен был бороться всю жизнь, так как наряду с этой рабской преданностью ему была врождена другая, также свойственная рабам, страсть — менять одного властелина на другого, возиться с цепями, надевать их и разбивать.

Чтобы решить основное противоречие между эллинской радостью и новым пессимизмом, простейшим средством было двинуть вперед философскую мысль с того пункта, где ее оставили усилия Канта и Шопенгауэра. Но для такого теоретического подвига у Ницше не было врожденных сил. Вопрос, который ему предстояло решить, был более интимный: отречься от Шопенгауэра или не быть. Но для рабски влюбленной и рабски непокорной души Ницше Шопенгауэр продолжал оставаться воплощением всякой возможной философии и отречение от учителя равнялось для него отречению от философии вообще. Ницше и делает этот шаг, бросается вниз с прежней идеальной высоты в ущелье инстинктов, реализма, материализма, здравого смысла, здоровой, а то и здоровенной жизнерадостности, лишь бы стать спиною к волшебнику Шопенгауэру, взоры которого горели с такою притягательною силою. Но и порвав цепь, Ницше продолжал носить на душе глубокий след прежнего рабства, и все, что он писал впоследствии об инстинктах, о воле к власти, было в сущности лишь отрывочным воспоминанием об учении Шопенгауэра, которого забыть он не был в си-

лах. Ницше написал «Der Fall Wagner», но главная трагедия его жизни, «Der Fall Schopenhauer»⁷, была им благоразумно обойдена молчанием.

Снова приходится вспомнить сравнение творчества Ницше с водопадом. Шум, стремительность и блеск этого творчества обусловлены были не избытком сил, а скорее их скудостью, не простором, но стесненностью русла, необходимостью одолеть препятствия. Можно с уверенностью сказать, что там, где стиль и мысли Ницше всего больше горят и увлекают, там он всего больше низвергается и падает. И наоборот, чем больше Ницше падает как мыслитель и моралист, тем сильнее он проявляет свою необузданную, в рабстве рожденную и жаждущую освобождения индивидуальность.

Читая то, что Ницше после «Происхождения трагедии» писал об идеализме и философии, кажется, будто видишь человека, который долго и напрасно искал ключ к двери и, не найдя его, исступленно начинает ломиться в дверь и потрясать стены дома. Всякая возможность истины отрицается во имя не истины, во имя здоровых инстинктов жизни. Создается новая теория, по которой декадансом оказывается всякое идеалистическое движение, а под именем декадентов сваливаются в кучу первые христиане, Сократ и Платон, Будда⁸ и Эпикур, Толстой и Вагнер, Кант и Шопенгауэр, одним словом, все, кроме Ницше и его «предопределенных судьбою» читателей. «Почему и не быть обманутым, — спрашивает Ницше, — это только нравственный предрассудок думать, будто истина ценнее видимости, из всех предположений в мире это — наименее доказанное». С философом Ницше не вступает в спор, но обрывает его следующим замечанием: «Милостивый государь, едва ли правдоподобно, что вы не ошибаетесь, но на что вам вообще непременно правда?» «Ложность суждения еще не основание для его осуждения... Вопрос в том, насколько оно жизнетворно, насколько нужно для сохранения жизни, для сохранения расы, даже, может быть, для ее роста». «Заблудившийся инстинкт везде и во всем, отрицание природы, как инстинкта, немецкий декаданс, как философия — вот кто такой Кант!» «Если вспомнить, что у всех народов философ представляет лишь дальнейшее развитие типа жреца, то перестаешь удивляться этой жреческой привычке, унаследованной философами, — способности расплачиваться с собой фальшивой монетой».

Невольно вспоминаются иные речи молодого Ницше о колоссальном мужестве и мудрости Канта и Шопенгауэра», сравнение Шопенгауэра «с рыцарем, сопутствуемым смертью и

дьяволом, каким изобразил *его* Дюрер⁹, — облеченным в броню, с твердым, стальным взглядом, с рыцарем, который, не робея перед своими грозными спутниками, хотя и без надежды, держит свой страшный путь один со своим конем и собакой. Таким дюреровским рыцарем был наш Шопенгауэр: у него не было никаких надежд, но он хотел истины. Нет ему подобного!» Так писал Ницше «в те дни, когда в жилище рая блистал он, чистый херувим». Теперь он закрывает глаза, увидя имя Шопенгауэра и, обозвав его издали фальшивым монетчиком, спешит пройти мимо. Какова же истинная монета философии, Ницше уже показал нам, признавая человека машиной, а чистый дух — чистой глупостью. Как видно, он и «внизу» остается рабом чужих мыслей, каким был «наверху». Тогда он повторял Шопенгауэра, теперь повторяет популяризаторов Дарвина. Это, как я сказал, Писарев, только без искренности Писарева. В сущности Ницше остается в душе падшим ангелом идеализма и не может не презирать плоского и тусклого материализма. Если же он якшается с жизненными инстинктами и последними словами физиологии, то делает это, как римские полководцы, которые заискивали перед грубой солдатчиной и чернью — для достижения престола, для сохранения своей индивидуальности. Но зато, как счастлив бывает Ницше, когда может обольстить себя самого какой-нибудь наивной мечтой, хотя бы о вечной повторяемости явлений и по этому поводу петь прежнюю песню о вечности, непозабывтую песню, ибо ему забвенья не дал Бог. «О, как же страстно не стремиться мне к вечности, к брачному кольцу колец, — кольцу возрождения!» Бедный возмутившийся херувим, собственной гордыней осужденный на прозябание в подземельях материализма!

Без сомнения, идеям Ницше суждено иметь большое влияние на литературу. Найдутся писатели, загипнотизированные их блеском и силой, — они будут приправлять ими свои стихи и прозу. Но сильно сомневаюсь в том, чтобы ницшеанство могло повлиять на миросозерцание людей, на их характер, на взаимные отношения. Немногие «прозревшие» за ним не пойдут, ибо грубое здоровье, во что бы то ни стало, не кажется им лучше утонченной и прекрасной болезни. «На что вам вообще непременно здоровье?» Что же касается толпы, то ей некуда идти за Ницше: она уже давно воплотила в жизни все заветы ницшеанства — презрение к философии, подчинение инстинктам, жестокость, гордость, властолюбие. Если же люди не беспредельно жестоки, то по необходимости. Над кем проявлять «благородную» мораль, велящую ударить слабого и толкнуть

падающего? Над народом? Над земледельцами? Над фабричными рабочими? История революций дает на этот вопрос неожиданный ответ. Или, может быть, ворваться в больницы и придушить больных или прикончить стариков? И на этом пути представители научного эмпиризма сделали кой-какие шаги: стоит лишь вспомнить кампанию, начатую Спенсером против налога на бедных и призрения слабых. Ницше может быть доволен «благородным» европейским обществом и даже народом, ибо ненавистное ему демократическое равенство держится не на христианском сострадании, как он утверждает, а на деяниях насилия, на благородном фундаменте из железа и крови. К тому же в наше время сила и власть приобретаются знанием, талантом — качествами, которые по наследству не передаются. Восторгаясь музыкой Визе¹⁰, разве Ницше справлялся, принадлежит ли этот композитор к сословию благородных или к плебсу? И разве происхождение Ницше — сына сельского пастора — принимается в расчет при оценке его идей?

Не думаю также, чтобы Ницше удалось дискредитировать в глазах людей философию и чистый разум. Скорее наоборот. До сих пор отвергали философию на том основании, что цель философии — нравственность, а для нравственной жизни достаточно врожденных нам инстинктов любви и сострадания. Так рассуждали наши радикалы, так рассуждает Толстой. Но вот пришел Ницше и заявил, что нам также врождены инстинкты жестокости и господства и что эти инстинкты единственно благородные и достойные гордой души. Кто же теперь разберет спор между инстинктами, кто другой, как не чистый разум?

Но если Ницше не может быть назван ни учителем людей, ни творцом нравственных ценностей, он бесспорно имеет право на славу художника-поэта, воспевшего с редкою искренностью обуревавшую его любовь к самому себе, ненасытную страсть к самому себе, жажду сверхчеловеческого величия и поклонения. Конечно, такая любовь — признак болезненной, утонченной культуры. Но с исповедью Ницше случилось то, что бывает со всякой искренней поэзией: мы поняли страдания поэта и отождествили себя с ним.

Ницше примирил нас с тем, с чем, казалось, нельзя мириться: с манией величия. Мы видим человека, которому Бог отказал в способности создать философскую систему, но который только об этом мечтает и томится, всю жизнь горел и страдал и перегорел на этом огне, а системы не создал. Но в какие яркие образы одел Ницше свое невоплощенное желание быть философом. Сперва он назвал это желание Заратустрой, а вместо того,

чтобы поучать людей новой истине, стал рассказывать о человеке, который будто бы поучал их. Но и Заратустра, в свою очередь, имел только желание поучать истине и это свое желание назвал сверхчеловеком. Придет сверхчеловек и принесет миру новую истину. Может быть, принесет, но ни Заратустра, ни Ницше ее не принесли. Зато Ницше принес свою жажду быть пророком, свои страдания, свой талант, свой бурный талант, похожий на Ниагару.

Мы теперь знаем, что движение водопада никуда нас не вынесет, что этот порыв является в сущности падением, но мы слышим могучий голос освобожденной стихии и внутренне радуемся. Или, вернее сказать, не освобожденной стихии, но освобождающейся, вечно освобождающейся и падающей. Все же, что касается душевной свободы, так значительно и драгоценно, что даже освобождению от философии, от истины, от добра — мы внутренне радуемся, как победе души над самой собой.

